

*У. Теккерею, эсквайру,
с глубочайшим уважением
посвящает автор эту книгу*

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

В предисловии к первому изданию «Джейн Эйр» нужды не было, и мне не пришлось его писать. Но это, второе, издание требует нескольких вступительных слов благодарности и кое-каких пояснений.

Благодарность мне должно принести:

Во-первых, Публике — за снисходительность, с какой она склонила слух к незатейливой повести, ничем особо не блистающей;

Во-вторых, Печати — за благожелательную и беспристрастную поддержку, дарованную безвестному неофиту;

В-третьих, моим Издателям — за помощь, какую их тактичность, их энергия, их практический опыт и доброжелательность оказали неведомому и никем не рекомендованному Автору.

Печать и Публика для меня лишь неопределенные обобщения, и поблагодарить их я могу только в общих словах, однако моих Издателей я знаю и знаю тех благожелательных критиков, которые ободрили меня, как способны благородные и великодушные люди ободрить робкого новичка. И вот им — то есть моим Издателям и этим Критикам — я говорю от всей души: «Господа, сердечно вас благодарю!»

Признав таким образом свой долг тем, кто способствовал выходу моей книги в свет и одобрил ее, я обращаюсь к другим, чье число, насколько мне известно, невелико, но тем не менее не может быть оставлено без внимания, — к немногим боязливым или сварливо-придирчивым хулителям, кому направление таких книг, как «Джейн Эйр», представляется сомнительным, в чьих глазах все необычное уже дурно, чей слух в любом обличении лицемерия — этого отца преступлений — различает оскорбление

благочестию, сему наместнику Бога в земной юдоли. Таким недоверчивым судьям я хочу указать на некоторые неопровержимые различия, хочу напомнить им несколько простых истин.

Светские условности еще не нравственность. Ханжество еще не религия. Обличать ханжество еще не значит нападать на религию. Сорвать маску с лица Фарисея еще не значит поднять руку на Терновый Венец.

Все эти вещи и дела диаметрально противоположны, они столь же различны, как порок и добродетель. Люди слишком уж часто путают их, а путать их нельзя. Нельзя принимать внешность за суть. Нельзя допускать, чтобы узкие человеческие доктрины, служащие вознесению и восхвалению немногих, подменяли учение Христа, искупившее весь мир. Между ними, повторяю, есть различие, и четко обозначить широкую границу, их разделяющую, — поступок благой, а не дурной.

Свету может не нравиться разделение этих идей, поскольку он привык сливать их воедино и находит удобным выдавать внешнюю благопристойность за истинную добродетель — принимать побелку стен за чистоту святилища. Он может ненавидеть того, кто дерзает проверять и обличать, соскабливать позолоту и обнажать низкий металл под ней, вскрывать гроб повапленный и обнажать всем взорам прах внутри — но и ненавидя, он в долгу у такого смельчака.

Ахав не любил Михея, ибо тот не пророчествовал о нем доброго, а только худое. Возможно, угодливый сын Хенааны был ему много приятнее, однако Ахав мог бы избежать кровавой гибели, если бы отворотил слух свой от лести и открыл бы его правдивому совету.

Среди нас живет человек, чьи слова не предназначены для того, чтобы приятно щекотать нежные уши. Он, мне кажется, предстает перед великими мира сего, как некогда сын Иемлая предстал перед царем Израильским и царем Иудейским, сидевшими каждый на седалище своем, и провозглашает истину, столь же глубокую, с силой столь же пророческой и победной, с тем же бесстрашием и дерзновением. Вызывает ли сатирик «Ярмарки тщеславия» восхищение в высших сферах? Не знаю. Но полагаю, если бы некоторые из тех, на кого он обрушивает греческий огонь своих сарказмов, над чьими головами мечет свои перуны, вняли, пока не поздно, его предостережениям, то сами они или семья их могли бы еще избежать Рамофа Галаадского, этой роковой битвы.

Почему я называю этого человека? Я называю его, ибо вижу, что ум его гораздо более глубок и уникален, чем сознают современники; ибо почитаю в нем первого борца за очищение обще-

ства наших дней, главного мастера среди тех тружеников, кто стремится восстановить во всей чистоте извращенный порядок вещей; ибо считаю, что ни один критик его творений еще не нашел подобающего ему сравнения или слов, верно определяющих его талант. Говорят, что он подобен Филдингу, указывают на его остроумие, юмор, умение рассмешить. На Филдинга он похож, как орел — на стервятника: Филдинг снисходит до падали, но Теккерей — никогда. Остроумие его блистательно, юмор обаятелен, однако к серьезному его гению они имеют то же отношение, что летние зарницы — к смертоносной электрической вспышке, укрытой в глубинах грозовой тучи. И наконец, я называю мастера Теккерейя потому, что ему — если он примет такую дань уважения от неизвестного лица — я посвящаю это второе издание «Джейн Эйр».

21 декабря 1847 года.

Каррер Белл

Глава 1

Пойти гулять после обеда в тот день было никак нельзя. Утром мы около часа бродили по садовым дорожкам среди оголившихся кустов, но к обеду (миссис Рид, если не было гостей, обедала рано) ледяной зимний ветер нагнал такие хмурые тучи и захлестал таким дождем, что ни о каких прогулках и речи быть не могло.

А я обрадовалась. Долгие прогулки, особенно в сырые знобкие дни, мне никогда не нравились. И каким мучительным было возвращение домой в промозглых сумерках, когда пальцы на руках и ногах совсем немели, а сердце сжимала тоска из-за сердитого ворчания Бесси, няньки, и еще от сознания, насколько я физически слабее, чем Элиза, Джон и Джорджиана Риды.

Теперь указанные Элиза, Джон и Джорджиана ласкались в гостиной к маменьке: она полулежала на кушетке у камина и, окруженная своими ангельчиками (в эту минуту они не ссорились и не плакали), выглядела безоблачно счастливой. Меня к их кружку она не подозвала, сказав, что сожалеет о необходимости держать меня поодаль, но, пока не услышит от Бесси и собственными глазами не убедится, насколько искренне и усердно я стараюсь обрести детскую общительность и приветливость, сделаться более милой и резвой, стать веселой, непосредственной — ну, словом, более естественной, — она вынуждена отказывать мне в тех удовольствиях, какие предназначены только для детей, всем довольных и счастливых.

— А что Бетти наговорила, будто я сделала?

— Джейн, я не терплю хныканья и дерзких вопросов, к тому же ребенок, столь грубо говорящий о старших, поистине невыносим. Поди отсюда, посиди где-нибудь и помолчи, пока не научишься быть вежливой.

К гостиной примыкала малая столовая для завтраков, и я ускользнула туда. Там стоял книжный шкаф, и минуту спустя я

уже держала в руке толстый том, в котором, как я предусмотрительно убедилась, было много картинок. Забравшись на диванчик в оконной нише, я поджала ноги по-турецки, почти совсем задернула гардину из красного штофа и оказалась в убежище, укрытом почти со всех сторон.

Справа меня прятали алые складки гардины, слева прозрачные стекла служили мне защитой от унылого ноябрьского дня, не загораживая его. Время от времени, переворачивая страницу книги, я поглядывала в окно на открывавшийся за ним вид — вдали белесой пеленой висел туман, смыкаясь с тучами, вблизи длинные порывы стонущего ветра гнали нескончаемые дождевые струи над мокрой лужайкой и гнущимися ветками деревьев и кустов.

Я вернулась к моей книге — «Истории британских птиц» Бьюика. Печатный текст меня, вообще говоря, интересовал мало, однако некоторые страницы введения я, хотя и была еще совсем маленькой, не могла просто перелистнуть, не прочитав. Те, что посвящены местам обитания морских птиц, «пустынным скалистым островкам и обрывистым мысам», приюту лишь их одних, — побережью Норвегии, где таких островков и обрывов множество, от мыса Линнеснеса на юге и до Нордкапа на самом севере,

Где Северный вскипает Океан
Вокруг нагих унылых островов
Далекой Туле; где на грозные Гебриды
Гнев рушат атлантические волны.*

Не могли не привлечь моего внимания и описания суровых, мрачных берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии — все эти «необъятные протяжения Арктической зоны, эти неисследованные области гнетуще безлюдные, это вечное царство морозов и снегов, где крепкие ледяные поля, творение неисчислимых столетий зимы, окружают полюс, громоздя ледяные горы одну выше другой, и сосредоточивают в себе все угрозы лютых холодов». У меня сложился собственный образ этих мертвенно-белых царств: смутный, как все лишь полупонятные представления, что неясными тенями скользят в детском мозгу, но странно убедительный. Слова на страницах введения связывались с иллюстрациями книги и придавали особое значение одинокой скале среди валов, взметающих фонтаны брызг, разбитой лодке на пустынном берегу, холодной жуткой луне, поглядывающей сквозь разрывы туч на тонущий корабль.

* Здесь и далее перевод стихов И. Гуровой.

Не могу выразить, какую меланхолию будило изображение заброшенного кладбища, надгробной плиты с чьим-то именем, калитки, двух деревьев, заслоняющей даль полуразрушенной ограды, узкого серпа восходящего месяца — указания на наступление ночи.

Два судна, скованные штилем на зеркальной глади дремлющего океана, я сочла морскими призраками.

Страницу, на которой дьявол крепко держал вора за его суму, я тут же перевернула, холодея от ужаса.

Как и другую, где на вершине скалы сидел кто-то черный и рогатый, глядя на толпу вдалеке, окружающую виселицу.

Каждая картинка содержала какую-то историю, часто загадочную для моего неразвитого ума и детских чувств и все же необычайно интересную — не меньше рассказов Бетси в зимние вечера, когда она бывала в добром расположении духа и ставила свой столик для уютики у камелька в детской. Разрешив нам усесться вокруг, она разглаживала кружевные рюши на платях миссис Рид, плоила ее ночные чепцы и потчевала нас перипетиями любви и приключений, заимствованными из старинных сказок и еще более старинных баллад, а то и (как я поняла позднее) из «Памелы» или «Повести о Генри, графе Морленде».

С Бьюиком на коленях я была счастлива, то есть счастлива на свой лад. И боялась только одного: что мне помешают, как и произошло слишком скоро. Дверь отворилась.

— Ба! Госпожа Нюня! — раздался голос Джона Рида и тотчас умолк, так как комната оказалась пустой. — Куда, прах ее побери, она подевалась? — продолжал он. — Лиззи! Джорджи! — позвал он сестер. — Джоан тут нет! Скажите маменьке, что она убежала под дождь, дрянь этакая!

«Хорошо, что я задернула гардину», — подумала я, лихорадочно надеясь, что он не обнаружит мой тайник. И Джон Рид меня не нашел бы — он был туп и ненаблюдателен, но Элиза только заглянула в дверь и сразу сказала:

— Она за гардиной, Джек, где ей еще быть?

И я сразу вышла в комнату, дрожа при одной мысли, что упомянутый Джек вытащит меня оттуда насильно.

— Чего вам? — спросила я с неловкой робостью.

— Ну-ка скажи: «Что вам угодно, мастер Рид?» — последовал ответ. — А угодно мне, чтобы ты подошла сюда!

Он плюхнулся в кресло и жестом приказал, чтобы я встала перед ним. Джон Рид был четырнадцатилетним школьником (на четыре года старше меня, так как мне было всего десять), крупным и плотным для своего возраста, с землистой нездоровой кожей, грубыми чертами широкого лица, толстыми руками и большими ступнями. За столом он обжирался, и из-за постоян-

ного несварения желудка глаза у него были мутными и тусклыми, а щеки дряблыми. Собственно, ему полагалось бы сейчас быть в школе, но его маменька забрала его домой на месяц-два «по причине деликатного здоровья». Мистер Майлс, директор школы, объяснил, что Джон был бы совсем здоров, если бы ему из дома присылали поменьше бисквитов и сладостей, однако материнское сердце не приняло столь сурового суждения, склоняясь к более возвышенному убеждению, что дурной цвет лица Джона свидетельствует о чрезмерном прилежании, а возможно, и о том, что мальчик тоскует по дому.

Джон питал очень мало любви к матери и сестрам, а ко мне — живейшую антипатию. Он издевался надо мной и бил меня — и не два-три раза в неделю, не раз-другой на дню, но непрерывно: каждый мой нерв изнывал от страха перед ним, и все мое существо сжималось при его приближении. Бывали минуты, когда я совсем терялась от ужаса, который он мне внушал. Ведь у меня не было никакой защиты ни от его угроз, ни от перехода от слов к делу. Слуги не хотели идти наперекор молодому хозяину, вступившись за меня, а миссис Рид оставалась слепа и глуха: она не видела, как он меня бьет, не слышала, как он осыпает меня бранью, даже если он расправлялся со мной, не стесняясь ее присутствия. Правда, чаще это происходило у нее за спиной.

Привычно подчиняясь Джону, я подошла к его креслу. Примерно три минуты он потратил на то, что показывал мне язык, высовывая его настолько, насколько было возможно, не повредив корня. Я знала, что потом он меня ударит, и хотя очень боялась удара, думала о том, как отвратителен и уродлив тот, кто сейчас его нанесет. Возможно, он прочитал эти мысли по моему лицу, потому что внезапно без единого слова ударил меня так сильно, что я зашаталась, однако удержалась на ногах и попятилась.

— Это тебе за то, что ты дерзко отвечала маменьке в гостиной, — сказал он, — и за то, что ты подло пряталась за занавеской, и за то, как ты на меня смотрела две минуты назад, слышишь, крыса!

Я давно привыкла к грубостям Джона Рида, и мне в голову не приходило возражать ему. Меня заботило лишь то, как перенести удар, который неизбежно должен был последовать за бранью.

— Что ты делала за занавеской? — спросил он.

— Читала.

— Покажи книгу.

Я вернулась к окну и принесла ее.

— Ты не смеешь брать наши книги; мама говорит, что ты приживалка; у тебя нет денег, твой отец тебе ничего не оставил; тебе надо милостыню кланчить, а не жить здесь с детьми джентль-

мена, есть то же, что едим мы, и носить одежду, за которую платит маменька. Ну, я проучу тебя, как рыться на моих книжных полках! Они ведь мои, весь дом мой — или станет моим через несколько лет. Иди встань у двери, подальше от зеркала и окон.

Я послушалась, не сообразив сначала, что он задумал. Но когда увидела, как он поднял книгу, прицелился и вскочил, чтобы швырнуть ее, я инстинктивно с испуганным криком кинулась в сторону. Но опоздала. Том уже был брошен, обрушился на меня, сбил с ног, и я стукнулась головой о косяк. Из ссадины потекла кровь. Боль была настолько сильной, что мой ужас внезапно прошел, сменившись другими чувствами.

— Гадкий, злой мальчишка! — крикнула я. — Ты как убийца, ты как надсмотрщик над рабами, ты как римские императоры!

Я читала «Историю Рима» Голдсмита и имела свое суждение о Нероне, Калигуле и прочих. И про себя проводила параллели, хотя вовсе не собиралась вот так выложить их вслух.

— Как! Как! — завопил он. — Она сказала мне такое? Вы ее слышали, Элиза и Джорджиана? Ну, я скажу маменьке, но сперва...

Он ринулся на меня. Я почувствовала, как он ухватил меня за волосы и за плечо... но он напал на существо, доведенное до отчаяния. Я правда видела в нем тирана, убийцу. Я чувствовала, как у меня по шее сползают капли крови, испытывала острую боль, и все это на время возобладаало над страхом. Я сопротивлялась как безумная. Не знаю, что делали мои руки, только он охнул: «Крыса! Крыса!» и завопил во всю мочь. Но ему недолго пришлось ждать спасения. Элиза с Джорджианой уже сбегали за миссис Рид, которая поднялась в свой будуар, и теперь она явилась на поле боя в сопровождении Бесси и Эббот, своей камеристки. Нас растащили. Я услышала слова:

— Подумать только! Набросилась на мастера Джона, как помешанная!

— Просто невообразимо, до чего она разъярилась!

А затем миссис Рид приказала:

— Уведите ее в Красную комнату и запирайте там!

В меня тотчас вцепились две пары рук и понесли наверх.

Глава 2

Я сопротивлялась до самого конца. Нечто новое для меня и заметно укрепившее дурное мнение обо мне и Бесси, и мисс Эббот. Я и правда была не в себе или, вернее, вне себя, как говорят

французы. Понимая, что секундный бунт уже обрек меня на неведомые кары, я, подобно всем восставшим рабам, в порыве отчаяния была исполнена решимости идти до конца.

— Держите ее руки, мисс Эббот, она хуже бешеной кошки!

— Стыдно! Стыдно! — вскричала камеристка. — Какое мерзкое поведение, мисс Эйр, — ударить молодого джентльмена, сына вашей благодетельницы! Вашего молодого хозяина!

— Хозяина? Как так — хозяина? Разве я служанка?

— Нет, вы ниже, чем последняя судомойка, ведь вы едите свой хлеб даром. Ну-ка сядьте и хорошенько подумайте о своем дурном сердце.

К этому времени они уже водворили меня в комнату, указанную миссис Рид, и насильно усадили на что-то мягкое. Я было вскочила как ужаленная, но они вновь схватили меня и удержали на месте.

— Раз не хотите сидеть смиренно, придется вас связать. Мисс Эббот, одолжите мне ваши подвязки, мои она сразу разорвет.

Мисс Эббот отвернулась, чтобы снять с пухлой ноги требуемые узы. Эти приготовления и новое унижение, каким они завершились бы, немного меня усмирили.

— Не снимайте их! — вырвался у меня крик. — Я не встану.

И в подтверждение я обеими руками вцепилась в мягкое сиденье.

— Ну, смотри! — сказала Бесси, а когда убедилась, что я и правда присмирела, то отпустила меня, и они с мисс Эббот стояли надо мной, скрестив руки на груди, подозрительно и хмуро глядяваясь в мое лицо, словно сомневаясь, в здравом ли я уме.

— Прежде она такого не вытворяла, — наконец сказала Бесси, повернувшись к камеристке.

— Только оно всегда в ней сидело, — ответила та. — Я хозяйке часто говаривала, какова, по-моему, эта девочка, и хозяйка, она со мной соглашалась. В тихом омуте черти водятся. В жизни не видела, чтоб маленькая девочка была такой скрытной.

Бесси ничего не ответила, но затем сказала мне:

— Вам бы след помнить, мисс, что вы миссис Рид всем обязаны — она вас содержит. А если прогонит вас, так вам одна дорога — в рабочий дом.

Мне нечего было ответить на эти слова. Слышала я их не в первый раз. Самые первые мои воспоминания включали вот такие намеки. Попреки в моей обездоленности превратились в моих ушах в какой-то неясный напев — очень мучительный и унижительный, но понятный лишь наполовину. Мисс Эббот не замедлила подхватить:

— И вам не след считать себя ровней молодым барышням и мастеру Риду потому только, что хозяйка по доброте своей позволила, чтоб вы воспитывались вместе с ними. Они-то получают большие деньги, а вы — ничего, так вам надо набраться смирения, стараться угождать им.

— Мы ж вам это все говорим для вашей же пользы, — добавила Бесси совсем не злым голосом. — Уж постарайтесь быть полезной, приветливой, так, может, и останетесь жить тут. А если начнете злиться и грубить, хозяйка вас отошлет, это уж как пить дать.

— А кроме того, — подхватила мисс Эббот, — ее Боженька покарат: поразит смертью, когда она будет беситься, и куда ей тогда прямая дорога? Пойдем, Бесси, оставим ее. Вот уж не хотела бы, чтоб мое сердце было бы таким черным, как у нее. А вы, мисс Эйр, когда останетесь одни, помолитесь хорошенько. Не то, если не покаетесь, как бы нечистая сила не забралась бы в трубу да и не утащила бы вас.

Они ушли, закрыв за собой дверь и заперев ее.

Красная комната была запасной спальней, которой пользовались очень редко, вернее сказать — никогда, кроме тех случаев, когда в Гейтсхед-Холл съезжалось столько гостей, что ни единой другой свободной комнаты не оставалось. И это притом что Красная комната была одной из самых больших и роскошных в доме. В центре, точно алтарь, возвышалась кровать красного дерева с массивными столбиками, поддерживавшими полог из багряного дамаска. Два больших окна с никогда не открывавшимися ставнями были наполовину занавешены гардинами из той же ткани, ниспадавшими фестонами и волнистыми складками. Ковер был красным. Стол в ногах кровати был накрыт малиновой скатертью. Цвет стен был золотисто-коричневым с розовым оттенком; комод, туалетный столик, стулья — все были старинного темно-красного дерева, тщательно отполированного. Среди общей этой темно-красности резала взгляд снежная белизна пикейного покрывала, прятавшего взбитые пуховики и подушки. Почти столь же слепяще белым выглядело глубокое покойное кресло у изголовья со скамеечкой для ног. Мне оно показалось мертвенно-белесым тронем.

В комнате царил холод, так как в ней редко топили камин; там стояла мертвая тишина, так как она находилась далеко от кухни и детской, и она казалась мрачной, так как туда редко кто-нибудь входил. Только горничные по субботам стирали с зеркал и мебели пыль, тихо осевшую на них за неделю; да изредка ее посещала сама миссис Рид, чтобы проверить содержимое потайного ящика комода, где хранились разные документы, шкатулка с ее драгоцен-

ностями и миниатюра ее покойного мужа. Эти последние слова заключают в себе тайну Красной комнаты, то заклятие, из-за которого она пустовала, несмотря на все свое великолепие.

Мистер Рид девять лет покоился в могиле, и свой последний вздох он испустил на этой кровати. Здесь он лежал в гробу, отсюда подручные гробовщика отнесли его на кладбище, и с того дня что-то вроде священного страха оберегало Красную комнату от частых вторжений.

Сиденье, к которому Бесси и злобная мисс Эббот пригвоздили меня, оказалось низенькой оттоманкой возле мраморного камина. Прямо передо мной вздымалась кровать, справа высился темный комод — отражения в его полированной стенке казались неясным узором, слева находились занавешенные окна, и высокое зеркало между ними повторяло тоскливое величие кровати и комнаты. Я не знала точно, заперли ли они дверь, и, когда набралась смелости встать, пошла проверить, так ли это. Но увы! Никакая темница не запиралась столь надежно. Возвращаясь к оттоманке, я должна была пройти мимо зеркала, и мой замороженный взгляд невольно измерил его глубины. Все в этой воображаемой нише выглядело более холодным, более темным, чем в натуре. И смотревшая на меня оттуда одинокая фигурка, чьи побелевшие лицо и руки выделялись в сумраке, а блестящие от страха глаза были единственным, что двигалось среди общей неподвижности, более всего походила на привидение. Мне она напомнила тех маленьких духов, наполовину фей, наполовину бесенят, которые в рассказах Бесси населяли заросшие папоротником болотца среди вересковых пустошей и внезапно появлялись перед запоздалыми путниками. Я вернулась на оттоманку.

За эти минуты во мне пробудилось суеверие, но час его полной победы еще не настал: моя кровь еще оставалась теплой, во мне еще не угасло горькое воодушевление взбунтовавшегося раба. И прежде чем темное настоящее удручило меня, я надолго оказалась во власти быстрого потока воспоминаний и мыслей.

Все тиранические издевательства Джона Рида, спесивое безразличие его сестер, отвращение их матери, угодливое презрение прислуги — все это всколыхнулось в моем возмущенном сознании точно ил, взбаламученный в воде колодца. Почему я все время обречена страданиям, всегда подвергаюсь унижениям, всегда оказываюсь виноватой, всегда бываю наказана? Почему мной всегда недовольны? Почему бесполезны любые попытки кому-то понравиться? Элизу, упрямую и себялюбивую, уважают. Джорджиану, капризную, очень злопамятную, мелочно придиричивую, дерзкую, все балуют, во всем ей потакают. Ее красота, ее розовые щечки и

золотые локончики словно бы чаруют всех, кто ни посмотрит на нее, заранее искупая любые провинности. Джону ни в чем не препятствуют, и уж тем более его ни за что не наказывают, хотя он сворачивает шею голубям, убивает цыплят цесарки, натравливает собак на овец, обрывает все плоды в оранжерее, обламывает все бутоны на редких растениях. Он называет мать старушенцией, иногда ругает за смуглую кожу, такую же, как у него, грубо перечит ей, не так уж редко рвет и портит ее шелковые платья, и все равно он — ее «милый сыночек». Я боюсь хоть в чем-нибудь провиниться, я стараюсь добросовестно исполнять все свои обязанности, а меня называют непослушной и дерзкой, злоюкой и хитрой тихоней с утра до полудня и от полудня до ночи.

Голова у меня все болела от полученного удара, от ушиба о дверной косяк, а из ссадины все еще сочилась кровь, но никто не побранил Джона за то, что он без всякой причины набросился на меня, а я, потому лишь, что воспротивилась ему, пытаюсь избежать новых беспричинных побоев, стала предметом всеобщего осуждения.

«Несправедливо! Несправедливо!» — твердил мой рассудок, обретший взрослую, хотя и временную остроту от боли и обиды. И они же породили решимость прибегнуть к любому средству, только бы спастись от невыносимой тирании, — например, убежать, а если не удастся, больше не есть и не пить, пока не умру.

Какие душевные муки терзали меня в эти последние часы унылого дня! В каком смятении пребывал мой мозг, как бунтовало мое сердце! Но в каком мраке необъяснимости велся этот мысленный бой! Я не находила ответа на неумолчный внутренний вопрос — почему, за что я так страдаю? Теперь с расстояния... не скажу скольких лет, я нахожу его без всякого труда.

Я вносила дисгармонию в Гейтсхед-Холл. Я же была иной, чем все остальные там: у меня не было ничего общего ни с миссис Рид, ни с ее детьми, ни с ее приближенными вассалами. Они меня не любили, так ведь и я их не любила. С какой стати должно было внушать им добрые чувства существо, взаимно не симпатичное каждому из них, существо, совершенно им чужое, полная их противоположность по характеру, по способностям, по склонностям; никчемное существо, которое не могло стать ни полезным им, ни еще одним источником радостей; ядовитое существо, взращивающее семена возмущения их обхождением, презрением к их мнениям. Я знаю, что, будь я задорной, веселой, беззаботной, требовательной и красивой резвухой, пусть и столь же бездоленной и зависимой от нее, миссис Рид терпела бы мое присутствие более спокойно, ее дети скорее были бы склонны видеть во

мне подружку, а слуги не старались бы сваливать на меня вину за все, что могло приключиться в детской.

Дневной свет мало-помалу прощался с Красной комнатой; время шло к половине пятого, и пасмурный день переходил в гнетущие сумерки. Я слышала, как дождь все еще неумолчно стучит в окно лестницы, как воет ветер в рощице позади дома. Мне становилось все холоднее и холоднее, и тут смелость покинула меня. Привычное состояние униженности, сомнения в себе, тоскливой подавленности подернуло сыростью угли моего угасающего гнева. Все называли меня скверной девочкой, так, может быть, я и вправду такая? Разве я минуту назад не думала о том, как уморить себя голодом? Это, бесспорно, грешная мысль, а достойна ли я смерти? И такой ли желанный приют склеп под приделом гейтсхедской церкви? В этом склепе, как мне говорили, погребен мистер Рид. И тут мои мысли обратились к нему, наводя на меня все больший страх. Я его не помнила, но знала, что он был моим родным дядей — братом моей матери, что он взял меня, осиротевшую на первом году жизни, в свой дом и что на смертном одре он потребовал от миссис Рид обещания, что она будет содержать и воспитывать меня, как собственную дочь. Вероятно, миссис Рид считала, что ни в чем не отступила от своего обещания, да так, полагаю, оно и было в той мере, в какой ей позволяла ее натура. Но как могла она питать добрые чувства к завещанной ей воспитаннице, не связанной с ней кровными узами, а после смерти ее мужа так вообще никакими? Несомненно, ее крайне тяготила необходимость из-за вырванного у нее слова заменять мать чужому ребенку, которого она не могла любить, и терпеть постоянное присутствие неприятной чужачки в своем семейном кружке.

Меня осенила странная мысль. Я не сомневалась — никогда не сомневалась, — что мистер Рид, будь он жив, обходился бы со мной заботливо и ласково. И вот теперь, глядя на белую кровать и тонушие в сумраке стены, а порой и обращая завороченный взгляд на смутно поблескивающее зеркало, я начала припоминать все истории, какие слышала о мертвецах, которые не находят покоя в могилах потому, что их последняя воля не была исполнена, и возвращаются в мир живых, дабы покарать нарушивших клятву и отомстить за обиженных. И мне пришло в голову, что дух мистера Рида, разгневанный несправедливостями, которые терпит дочь его сестры, может покинуть то ли церковный склеп, то ли неведомый мир, где пребывают усопшие, и явиться мне в этой комнате. Я утерла слезы и подавила рыдания, боясь, как бы на свидетельства бурного горя не отозвался потусторон-